

Николай Герасимович ПОМЯЛОВСКИЙ

## ОЧЕРКИ БУРСЫ

Посвящается Н. А. Благовещенскому

### ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В БУРСЕ

#### Очерк первый

Класс кончился. Дети играют.

Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны – в черно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снега, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут парты (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него – черная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете – ведро воды для жаждущих; в противоположном углу – печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, – нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всем этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачнем и прохладнем паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатыми и зеленоватыми стеклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года – давно они прошли, – когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, Псалтырем и обиходом церковного

пения, познакомила с майскими (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года три-четыре, отпускали дьячить; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали богословского курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание – не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались великовозрастными; эту причину отмечали в титулке ученика (в аттестате) и отправляли за ворота (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь одежд и лиц!.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек; идут игры – оригинальные, как и все оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например: Митаха, Элпах, Тавля, Шестиухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька и т. п., но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура, – крайне неприличное.

Семенов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он городской, а на городских товарищество смотрело презрительно, называло бабами: они любят маменек да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова – никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удержаться вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в камешки и робко проговорил:

– Братцы, примите меня.

– Гусь свинье не товарищ, – отвечали ему.

– Этого не хочешь ли? – проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

– Пока по шее не попало, убирайся! – прибавил третий.

Семенов отошел уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и стерпелся с грубым обращением.

– Господа, с пылу горячих!

– Кому, Тавля? – отзывались голоса.

– Гороблагодатскому.

Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а Тавля – четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

– Ну! – сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопылив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

– Валяй! – сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

– За два! – подхватили окружающие.

– Пиши, брат, к родителям письма, – прибавил Тавля с своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух, во время его полета успел с страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она со щипчиками, и притом щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и с пылу горячими, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая приходчина, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем матка (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела, после пятидесяти появилась синева.

– Любо ли? – спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.

Противник молчит.

– Любо ли?

Опять ответа нет.

– Взъерепень, взъерепень его! – говорят окружающие.

– Заплачь, так прощу! – говорит Тавля.

– Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! – ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

– Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали.

– Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всем только комическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!»

Дошло до ста...

– Ну, черт с тобой! – заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решился на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более чем с пылу горячих. Оба они были второкурсные. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя товарищество, которое стало во враждебные отношения к начальству и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах училищной инструкции (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междоусобие. Такими властями были: старшие спальные – из второуездных; старшие дежурные – из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; цензора – надзирающие за поведением в классе; аудитора – выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в нотатах (особой тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная – секундатор, ученик, который, по приказанию учителя, сек своих товарищей. Все эти власти выбирались из второкурсных. Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе еще на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчет был верен: второкурсные, желая удержать власть в своих руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их

второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора; деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, аудитора, старшие и секундатеры получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, аудитора составляли придворный штат, а второкурсные – аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надувать их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном второкурсии только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи – Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, в качестве второкурсного аудитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив – норма, когда десять копеек, взятые на недельный срок, оплачивались пятнадцатью копейками, то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет двадцать пять раз капитал на капитал. При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую неделю он обязан был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бурсы; не один Тавля живодерничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки; не дать – беда, а денег нет, вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от презестоких грядущих розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах.

Пошлая.. гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавдиторные! При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, говорит, Катька, рябчика съесть? » – и начинает щипать подчиненного за волоса. «Тебя маменька вот так гладила по головке; постой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против шерсти (волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» – спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавдиторного, сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? вон она». Он загибал своим товарищам салазки, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимет его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески избить составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитор, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры – все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был отпетый.

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит: «Хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею» – редко дает кому дорогу, обойдет

начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, отмачивает дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столп товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались благими; это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались отчвалыми: эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый башка: он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой размазней (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей [1 - Этих насекомых было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими: он служил каким-то огромным гнездом для паразитов: целые стада на виду ходили в его нестриженной и нечесаной голове; когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака. – Примеч. авт.] напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол, – все это были дела Гороблагодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще недовольных; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено – и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется бунтом. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили убоиной, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убоину; но они по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечен раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но, во всяком случае, должно сказать, что его все-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надуть начальство. Особенно замечателен был прием под названием – пустить в круговую. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А.; А. опять на В. – вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек тридцать, и тогда



сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» – «Меня научил такой-то». – «А ты зачем?» Тот ссылается на другого, и пошла коловоротница, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство – подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальством, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т. п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишенное смыслу и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную поговорку: не репу сеют, а секут только. Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах; искусный в своем деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодатского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покато́й доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по получасу и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью (верьте, что это факты) – все он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал

подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво:

– Не хочешь ли еще?

Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

– Давай! – упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защелкали.

Семенов издали наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный тою же бурсацкою администрацией. Товарищество сегодня огласило его фискалом.

Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо – фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую услугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономской свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предуведомленный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к

наказанию, но начальство из доносов все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика сильно наказанного были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в черную книгу. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались волчьи паспорта: это те же титулки, только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было молчание: целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чем не поможет, а напротив – с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов: на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось бесчестным.

Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало что хотело.

Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся.

– С пылу горячие! – закричал Гороблагодатский.

В его голосе было что-то злое. Тавля струсил и побледнел на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя: Гороблагодатский в один прием взял все восемь конов, а Тавля срезался на пятом...

– Конца не будет! – сказал сурово Гороблагодатский.

Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит.

Дошло до ста. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:

– Да ну, полно же!..

– После двухсот проси пощады, – отвечал Гороблагодатский.

– Ведь больно!..

– Еще больнее будет.

На сто семидесятом щипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча...

– Довольно же, Ваня... что же это будет?

Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением щипнул Тавлю.

Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненаруσιμο, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:

– Оставь... ведь натешился.

– Скажи только слово, еще двести закачу!.. – Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий. Тавля не вынес: по щекам потекли слезы.

Наконец двести.

– Теперь прощенья проси!

Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.

– Да ну, оставь же!

– Зачем насмехался давечь?

– Так то ведь шутка!

– Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнул он Тавлю.

– Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.

– Будет с тебя. Сыт ли?.. – спросил Гороблагодатский.

Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.

– Подлец! – проговорил он. – Слышь, не задевай! в зубы съезжу!

– Ты?

– Я.

– А вот и харя, съезди, – сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо...

Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка...

«Так и надо, так и надо!..» – шевелилось в душе Семенова...

Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа... Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе.

Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться; на дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и как ни в чем не бывало продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.

Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол между партами, останавливаясь то здесь, то там.

Посмотрел он, как играют в чехарду, – игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня ломали пряники, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе на спину друг друга; это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в швычки: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал – опять ложись; угадал – на смену его ляжет угаданный.

Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.

«Так и надо!» – повторил он в душе и пошел к пятой парте.

Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.

Семенов перешел к седьмой парте и полюбовался, как шесть нахаживали. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед.

На следующей парте Митаха выделял богородичен на швычках, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщелкивал пальцами. Тут же Ерундия (прозвище) играл на белендрях, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, берендрясили. Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «Под потолком полком полколпака гороху», «Нашего пономаря не перепономаривать статью», «Сыворотка из-под простокваши».

Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в плевки. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на смазь. Шестиухая Чабря плюнул выше.

– Подставляй! – сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.

Омега выпятил свою лупетку (лицо).

– Надувайся! – сказал Чабря.

Омега надул щеки.

– Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснел.

– Верховая, – качал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, – низовая, – прикладывая к подбородку, – две боковых, – прикладывая к одной и другой щеке. – Надувайся!

Омега надулся.

– И всеобщая! – торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.

После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.

Семенову было скучно. Он не знал, что делать...

– Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!

Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, отчего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.

Семенов очутился около него.

– На сколько? – спросил его Элпах, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

– На пять копеек.

– Деньги?

– Вот!

– Держись.

– Что ж ты обсосанных даешь?

– Лучший сорт.

– Перемени, Элпах.

– Леденчиков, пряников! – закричал Элпах, отворачиваясь в сторону.

Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.

– Давай играть в костяшки, – сказал ему Хорь.

Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

– Что гляделы –то пучишь? не бойся!

– Надуешь...

– Ну вот дурак... что ты!

– Побожись.

– Ей-богу, вот те Христос!

– Право, не надуешь?

– Побожился! чего ж тебе еще?

– Ну ладно, – ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

В училище была своя монета – костяшки от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась однодырочная костяшка; две однодырочных равнялись четырехдырочной, или паре, пять пар куче, или грошу, пять куч великой куче. Костяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре в юлу и в чет-нечет. Бывали владельцы сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезавали костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.

Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего – все казенное, и, если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжении семи лет у него не перебивало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был кальячить. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему, как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье – зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в



костяшки; но наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться – все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волосы под партой и задал ему волосянку. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.

– Чет аль нечет? – спросил он, загадывая.

– Пусть нечет, – отвечал Семенов.

– Твое. Теперь ты.

Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман.

– Что же это, Хорь? – говорил Семенов.

– Я тебе Хорь?.. а в ухо хочешь?

– Оплетухом, – сказал один из товарищей.

– Беззаконновахом, – прибавил другой.

– И неправдовахом, – заключил третий.

– Отдай, Хорь; право, отдай.

– Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:

– Господа, это подло, наконец!

– Что такое?

– Кто взял горбушку?

– С кашей? – отвечали ему насмешливо.

– Стибрили?

– Сбондили?

– Сляпсили?

– Сперли?

– Лафа, брат!

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а лафа – лихо!

– Комедо! – раздался голос Тавли.

– Иду! – было ответом.

Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.

– Готово? – спросил Комедо.

– Есть! – отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трехкопеечных булок.

– Сожрешь?

– Сказано.

Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.

– Условия?

– Не стрескаешь – за булки деньги заплати, а стрескаешь – с меня двадцать копеек.

– Давай.

– Смотри, ничего не пить, пока не съешь.

Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.

– Раз! – считали в толпе. – Два, три, четыре...

– Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съел пятую.

– Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съел шестую.

– Прорва! – говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.

– Теперь и напиться можно, – сказал Комедо.

Когда он напился, его спрашивали:

– А еще можешь съесть что-нибудь?

– Хлеба с маслом съел бы.

Достали ломоть хлеба и масла достали.

– Ну-ка попробуй!

Он съел.

– А еще?

– Горбушку с кашей съел бы.

Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.

– Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животное ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?

– А что брюхо? – спросил кто-то.

– Тугое, – отвечал Комедо, тупо глядя на всех...

– Очень?

– Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

– Ишь ты, стерва!.. как барабан!..

– И что, два фунта патоки съешь?

– Съем.

– А четыре миски каши?

– Съем...

– А пять редек?

– А четыре ковши воды выпьешь?

– Не знаю... не пробовал... Я спать хочу...

Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в скоромные. Васенда навел: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах: тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.

– Не садануть ли в постные? – пробормотал он.

Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.

– А, вон где! – сказал он, отыскав то, что требовалось.

Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, навел: спина его была открыта и выпячена вперед. Поднялись над спиной

руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был...

– Тавля ударил, – сказал он.

Тавля лег под удары.

Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперед, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.

Ударили Тавлю.

– Хлестко! – говорили в толпе.

– Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

– Кто ударил?

– Ты.

– Вали его... вали снова!..

Тавля наклонился...

– Взбутетень его!

– Взьерепень его!

– Чтоб насквозь прошло!

Трехпудовый удар упал на спину Тавли.

– Гороблагодатский, – сказал Тавля, едва переводя дух...

– Растянуть его снова!

Опять повторился сильный удар...

– Бенелявдов, – указал Тавля.

– Вали еще!

– Что ж, братцы, эдак убить можно человека...

– Зачем мало каши ел?

– Жарь ему в становой!

Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.

– Что ж это, братцы?.. убить, что ли, хотите?

– Значит, любим тебя, почитаем, – сказал Гороблагодатский.

– Братцы, я не лягу... что же такое!.. других так не бьют...

– А тебя вот бьют!

– Жилить?

– Вздую!

– Морду расквашу! – сказал Гороблагодатский.

– Братцы....

– Ну! – крикнул грозно Бенелявдов.

Тавля угадал наконец... Игроки захохотали, когда он сказал:

– Я не хочу больше играть...

– Отчего же, душа моя? – спросил Гороблагодатский.

Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными... Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.

– Кто это? – спросил он.

Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на Хорька.

– Ей-богу, братцы, не я... вот те Христос, не я... хоть общите...

– Чичер!.. – провозгласил Гороблагодатский.

Человек десять вцепились Хорьку в волосы, а один из них запел:

– Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?

– Пирога, – пищал Хорь...

– Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

– Кочена.

Снова почали и опять пропели «чичер»...

– Кок или вилки в бок?

– Кок! – отвечал истасканный Хорь.

После этого, отпустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря:

– Не бесчинствуй!..

– Черти эдакие! – отвечал Хорь. – Я в другой раз еще не так!

Семенов, видя, как таскали Хоря, шептал:

– Так и надо, так и надо!

Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придерживали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе; еще несколько минут, и зги не увидишь.

– Братцы, – заговорил Семенов, опомнившись, – за что вы меня ненавидите?.. все!.. все!..

Голос его был заглушен хоровою песней. Сумерки развивались быстро; едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки.

Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного

вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестренки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюда, и легкий пар идет от живительной влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал... Но вдруг плач его пресекся... Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Отупел он от страха, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. тебя все ненавидят! и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клочок волос из головы, плюнут в лицо...» В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», – прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» – прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клочок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решился просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте.

В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико...

Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, въехали в загорбок; слышен напев на «Господи возвах, глас осьмый»; вырывается из концерта патетическая нота в верхнее ге; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарстии, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; грегочет какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделявая «и-и-го-го-го-го!» Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на гласы и вкушают затрешины. В Камчатке, под управлением заматерелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами бурсы:

Сколь блаженны те народы,  
Коиx крепкие природы  
Не знали наших мук,  
Не ведали наук!

Тут в столовую заглянешь,



Щей негодных похлебаешь,  
Опять в свой класс идешь,  
Идешь, хоть и воешь...

А тут архангелы подскочат,  
Из-за парты поволочат,  
Давай раба терзать,  
Лозой его стегать...

Бедняги! недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошел до нас...

В другом месте слышно:

На поповой-то на даче  
Мужичок едет на кляче,  
Хлибушку везе,  
Хлибушку везе...

Мужичье к возью бежали,  
Кулачьём в возье совали:  
– Щё, бра', продаешь?  
Щё, бра', продаешь?

Им сказали, щё овес;  
Мужик вынул да потрес  
На горсти своей,  
На горсти своей.  
Еще слышно:

А как взяли козла  
Поперек живота,  
Как ударили козла  
О сырую мать-землю;

Его ноженьки  
При дороженьки,  
Голова его, язык  
Под колодою лежит...

После каждого двустишия припевалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли, —

и потом повторение второго стиха.

А вот и еще отрывок:

Любимцы... Аполлона  
Сидят беспечно in сауропа.  
Едят селедки, merum пьют  
И Вакху дифирамб поют:  
«О, как ты силен, добрый Вакх!  
Мы tuum regnum чтим в мозгах;  
Dum caput nostrum посещаешь,  
Оттуда curas выгоняешь,  
Блаженство в наши льешь сердца  
И dignus domini отца.  
Мы любим Феба, любим муз:  
Они с богами нас равняют,  
Они путь к счастью прокладывают,  
Они дают нам лучший вкус;  
Sed omnes haec плод ученья  
Coniunctae sunt всегда с томленьем...  
Давно б наш юный цвет увял,

Когда б ты нас не подкреплял! [2 - In сауропа – в кабачке, в харчевне; merum – чистое, неразбавленное вино; tuum regnum – твое царство; dum caput nostrum – пока нашу голову; curas – заботы; dignus domini – достойный го?спода; sed omnes haec – но все эти; coniunctae sunt – соединены (лат.).]

Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников...

Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночною темнотою», «Я бедная пастушка», «Уж солнце зашло, вверх горя» и т. п., либо чисто народные песни: «Ах вы, сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пить» и т. п.

Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия:

В восьмом часу по утрам,  
Лишь лампы блеснут на стенах,  
Мужик Суковатов несется,  
Несется в личных сапогах...

Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счету нет... Появились лай, мяуканье и кряканье, свист и визг... Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая разноголосица: участвующие в ней разбирают между собой все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод пронимают приходчину до костей; благим матом затягивается: «Холодно, холодно!» – это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики и стонут – душу надрывают: «Холодно, холодно!» – «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто вырабатывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах... Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе крошечного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное и мирное житие»; с неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами: «Благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!» На необъятной нотище разрешается последний звук... В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все... Товарищество наслаждается; оно страстно любит крепкий звук... Но минута – и стоголосое «многая лета!» отвечало басу... Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, – уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.

– Господа, концерт! – предложил кто-то.

– «На реках вавилонских».

– Да нот нет!..

– На память!..

– Зови маленьких певчих.

Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты плачут детскими голосами; бас, как подавленная сила,

гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот... «Како воспоем на земле чуждей песнь господню?» – отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слезы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и наконец переходит в сильные, грозные голоса: «Дщи вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!»

После концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом:

А как взяли козла  
Поперек живота...

Но ученики недолго сидели скромно и тихо.

– Приходчину дуть! – раздался чей-то голос.

– Идет! – отвечают на голос.

Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертней, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? за что бьет? Черт их знает и черт их носит!.. Плачь, вопль, избиение младенцев! На партах и под партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побияниях приходчины, совершаемых в потемках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаля: «Раззудись, плечо, размахнись, кулак!», а с другой стороны – «Трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать встряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалить, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.

Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.

– Мала куча! – кричало несколько человек.

Среди класса, в темноте, шла какая-то возня – не то игра, не то драка... Смех и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т. д. Упавшим не дают вставать. Человек тридцать роются в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов:

– Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая.

– Масло жать! – кричали из угла у печки.

Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках:

– Михалка, вали!

– Васенда, при!

– Работай, Шестиухая Чабря...

– Тисни, Хорь, тисни!

Попавшие к стене еле дышат, селятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло.

Но обе игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».

– Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караул!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голос... Кому-то зажали рот... вот повалили на пол... слышно только мычанье... Что там такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потом ясно обозначился свист розог в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот:

– Десять? двадцать? тридцать...

Идет счет ударов.

– Сорок... пятьдесят...

– А-я-яй! – вырвался крик.

Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело...

– Ты, сволочь, кусаться! – Это был голос Тавли.

– Ай, братцы, простите!.. не буду! ей-богу, не бу?

Ему опять зажали рот...

– Так и следует, – шептались в товариществе...

– Не фискаль вперед!..

Уже семьдесят...

Боже мой, наконец-то кончили!

Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова... В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон... Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:

– Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем... – И при этом он прибавил непечатную брань.

– Полайся!

– Назло же расскажу все инспектору... про всех...

Неизвестно от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко... отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их.

Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья разорвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы, и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в продолжение вечера оскорбленный и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:

– Сбегу... сбегу... зарежусь... жить нельзя!..

Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах – благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет и что великого сечения должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семенов рыдал... Что-то злое было в его рыданиях... но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина.

– Что с ним? – спрашивали ученики.

– Не случилось ли беды?

– Да жив ли он?

– Братцы, – закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семенов, – он пошел жаловаться!

– Опять фискалить! – раздалось несколько голосов.

Расположение товарищей мгновенно переменилось; посыпалась на Семенова злая брань.

– Смотрите, не выдавать, ребята!

– Э, не репу сеять!.. – слышались ответные голоса.

– А ты как же, Тавля?

– Я скажу, что хотел заступиться за него и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.

– Молодец, Тавля.

Однако Тавля дрожал как осиновый лист.

– А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придется отвечать.

– А скажу, что меня не было в классе, – вот и все!

В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу с трех рожками. От столбов полосами легли

тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.

Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокое розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив аудитора взяткой; иные думали беспечно: «Авось-либо и так сойдет!», а человек пятнадцать, на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сечение не заставит их учиться; эти счастливицы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Лень была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятых часов заставило ученика выработать этот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и всё в бурсе, является в оригинальных формах.

Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «Следующему», Васенда толкает Карася, Карась Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется жевком, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай если к тебе не пристаю», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (прозвище ученика) я уже с тобой на матках в чехарду», в третьей: «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безымянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный – человек опасный; рыжий-пламенный сожег дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, плят рот пальцами, показывая искривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул – это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Аудитор, по прозванию Богиня, жует резину, третий день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск; чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя



своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любит ее целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он – вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал пильщика, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему закоперщику (другу) Мямле. Один великовозрастный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбравшись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит: «Хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер», и выйдет не по-русски, а по херам. Другой отвечает ему еще хитрее: «Ши-чего, ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «Ничего не бойся». Это опять не по-русски, а по-шицы; здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется ши, и произносится она сначала, а к первой цы, и произносится она после; выходит ши-зга ро-цы. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее; снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу; таким образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на посланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь!

Но только записные, безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчадалы, но еще не камчадалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля со всеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т. д. работает, желая узнать, что из этого выйдет. Порося придавил глаз пальцем и любит, как перед ним двоятся и троются предметы; потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжанье и легкий говор в классе, как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один

первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любит на затекший кровью палец. Третий насасывает руку до крови... Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например, прислушиваются, как бьется пульс, заберут в легкие воздух и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу – не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, собирают слюну во рту и потом выплевывают на пол, читают страницу сзади наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки... Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей... и урок ему нейдет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит – будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думают браться. Иные сидят обессмысливши и млеют в тоске неисходной, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? – спросит читатель. – Неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да пожалуй, что и занимательнее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.

Главное свойство педагогической системы в бурсе – это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смыслу: «Стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалось в голове ученика «стыд и срам». Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы». При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены, воспитаны тою философией, которая учит, что «все люди смертны, Кай – человек, следовательно Кай смертен» или что «все люди бессмертны, Кай – человек, следовательно Кай бессмертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному зако-

ну», что «законы тождества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего я или из нашего самосознания», что «где является свет, там уничтожается тьма», что «смирение есть источник всякого блага, а вольнодумство пагубно и зазорно» и т. п. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы: «Может ли диавол согрешить?», «Сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию?», «Первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные?», «Что чему предшествует: вера любви или любовь вере?» и т. п. Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему pro и contra [3 - За и против (лат.).] смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускались в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Еще во время детства у них явилось расположение разрешать: «Что такое сущность?», «Что такое целое?», «Спасется ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет?», и им очень хотелось, чтобы нет. Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одаренное свободно-разумной душою, царь вселенной, — хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть ни более ни менее, как бесперый петух. Все это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-философов, но, к благополучию его, возражения давались редко и вообще считались ученою роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня... Что же удивительного, что такая наука поселяла толь-

ко отвращение в ученике и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто пред глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоит пожать пружину — и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах — удивительно! — нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться башкой. Бывали удивительные башки. Так, некто Светозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начав с «А, ab, abc», он охватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова, и такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам; большинству они давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вот Данило Песков, мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгой два часа с половиной, поводит помутившимися глазами... и что же?... он видит, многие измучились еще более, чем он,

многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса... Э, бедняга, хоть сам-то пожалей себя! брось ты книгу под парту либо наплюй в нее – все равно завтра твое тело будет страдать под лозами... ступай-ка, дружище, в Камчатку – там легче живется; а дельных знаний у камчатников, право, не меньше, нежели у самого закаленного башки. Ученик, взглядываясь в измученные долбнёю лица товарищей, невольно спрашивает себя: «Зачем эти труды и страдания? к чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим учебником? разве мы не люди?» Среди таких размышлений выскочит без спросу, сам собою, кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается; в ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они, послушные сцеплению идей, как это бывает с человеком во сне. Невесела картина класса... Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию... Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой: он и не заметит, как подойдет минута, возвещающая ужин.

Но вечер кончился очень занимательно. Минут за тридцать до звонка явился в классе Семенов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое место. Занятая оживилась: все смотрели на него. Семенов чувствовал, что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз, холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минуты через четыре снова отворилась дверь; среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры – служителя при училище: один из них был Захаренко, другой Кропченко – на них была обязанность сечь учеников; двое других, Цепка и Еловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мертвая тишина настала в классе... Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом... Наконец инспектор остановился около Тавли... Тавля готов был провалиться сквозь землю.

– К порогу! – сказал ему инспектор после некоторого молчания.

– Я... – хотел было оправдываться Тавля.

– К порогу! – крикнул инспектор.

– Я заступался за него... он не понял...

Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трепку; потом наклонил его за волоса лбом к парте, а другой рукой, кулаком, ударил ему в спину, так что гул раздался от здорового удара по крепкой спине; потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал:

– К порогу!

Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся, медленно лег на грязный пол голым брюхом; на плеча и ноги его сели Цепка и Еловый...

– Хорошенько его! – сказал инспектор.

Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами; лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семенова, а тот не понял, в чем дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак: когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев... Ученики шепотом считали число ударов и насчитали уже восемьдесят. Тавля все кричал «не виноват!», божился господом богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семенова; Семенов не понимал сам себя: и тени наслаждения мстью не было в его сердце, он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту, Тавля вынес уже более ста ударов, голос его от крику начал хрипнуть, но все он продолжал кричать: «Не виноват, ей-богу, не виноват... напрасно!» Но он должен был вынести полтора ста.

– Довольно, – сказал инспектор и прошелся по комнате. Все ожидали, что будет далее.

– Цензор! – сказал инспектор.

– Здесь, – отозвался цензор.

– Кто еще сек Семенова?

– Я не знаю... меня...

– Что? – крикнул грозно инспектор.

– Меня не было в классе...

– А, тебя не было, скот эдакой, в классе!.. Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя... И тебя отпорю, – сказал он Гороблагодатскому, – и тебя, – сказал он Хорю. Потом инспектор указал еще на несколько лиц. Гороблагодатский грубовато ответил:

– Я не виноват ни в чем.

– Ты всегда виноват, подлец ты эдакой, и каждую минуту тебя драть следует...

– Я не виноват, – ответил резко Гороблагодатский.

– Ты грубить еще вздумал, скотина? – закричал инспектор с яростью.

Гороблагодатский замолчал, но все-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора...

Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический страх. В училище бывали случаи, что не только секли десятого, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать наверное, будут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись; некоторые были бледны; двое городских тихонько от товарищей плакали: что, если по счету придешься в списке инспектора десятым?.. Только Гороблагодатский проворчал: «Не репу сеять!», и остервенился в душе своей, и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался идти к Семенову и избить его окончательно; он уже сказал себе: «Семь бед – один ответ»; но вдруг лицо его озарилось новой мыслью, он злорадно усмехнулся и проговорил:

– Пфимфа!

Семенов совершенно замер... Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждет удара тяжелого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон... дышать почти нельзя... Черти, черти! какие минуты приходилось переживать бурсаку...

– Пфимфа! – сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться...

Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели...

– Становись в пары! – закричал цензор...

Минуты через две ученики отправились в столовую и, пропевши в пятьсот голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошел к Бенелявдову и повторил загадочное слово:

– Пфимфа!

– Следует! – ответил Бенелявдов.

Уже в обители священной  
Привратник запер крепко вход,  
И схимник в келье единенной  
На сон грядущий pceses [4 - Молитвы (лат.).] чтет...  
Морфей на город сыплет маки,  
Заснул народ мастеровой;  
Одни не дремлют лишь собаки,  
Да кой-где вскрикнет часовой...  
Вторично петухи кричали...  
Был ночи час; все крепко спали...  
Так «Семинариада» описывает ночь...

Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собой. Задний отдел трех номеров носил название Сапога. Это были спальни своекоштных; поэтому утром и вечером, особенно в первые недели после больших праздников, в Сапоге и других двух комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось все училище; ученики толпами переходили от одной кровати к другой; из-под кроватей, числом до двухсот в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несла сырость, сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в зараженном воздухе, утрачивало наконец способность чувствовать отвращение к нему!.. Другая беда – холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален, со столбами посредине, как и в классах, слабо освещались, и темные тени

ложились полосами по кроватям. Ученики храпели и бредили; некоторые во сне скрипели зубами.

Доскажем последние события зимнего вечера в бурсе. Из комнат Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол девятого номера; там поднялись еще две фигуры... Между ними начались совещания.

– У тебя пфимфа? – спрашивал один.

– У меня.

– Давай сюда.

Все три фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семенова... Один из участников держал в руках сверток бумаги в виде конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа, одно из варварских изобретений бурсы. Державший пфимфу босыми ногами подкрался к Семенову. Он зажег вату с широкого отверстия свертка, а узким осторожно вставил в нос Семенову. Семенов было сделал во сне движение, но державший пфимфу сильно дунул в горящую вату; густая струя серного дыма охватила мозги Семенова; он застонал в беспамятстве. После второго, еще сильнее дуновения он соскочил, как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Задыхаясь, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпенье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семеновым, а когда сам Семенов очутился и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семенова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно...

1862

## БУРСАЦКИЕ ТИПЫ

### Очерк второй

Три часа утра. В спальне, именуемой Сапог, все покоится. Слышится храп и легкий бред; некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить



от дурной привычки; иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовою душил. Только после усиленного вглядыванья в мрак, наполняющий воздух Сапога, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода.

В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись осторожно, начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В той шубе много было паразитов, которые наконец доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и, сдернув ее с бурсака в один миг, мгновенно скрылся. Искусанное тело скраденного горело огнем, прохладный воздух освежил его, и он благодаря Аксютке уснул сладко и спокойно. Аксютка между тем успел запрятать шубу впредь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника.

Четыре часа. Вошел Захаренко. (На нем, кроме обязанности сечь учеников, лежала еще обязанность будить их и возвещать колокольчиком начало и конец классов.) Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево.

Ученики вскакивали, чесали бока и овчину на голове, отплевывались, зевали или крестили рты; иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжело падали на постели.

– В баню! в баню! – провозглашал Захаренко.

– Эй, вы!.. И-го-го-го! – загреготал кто-то.

В баню пускали по утрам раным-раненько. Срам было днем выпустить в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжение всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днем отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своем распоряжении. Но об этом после.

– Живо! – крикнул спальный старший.

– Подымайся! – кто-то заревел неистовым, раздирающим уши и душу голосом.

– Грешные тела мыть! – отвечали еще неистовее.

Спальня Сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое белье, связывают узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всем весело, потому что хоть раз в две недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные, не казенные лица, а главное – день бани для бурсака был днем разнообразных промыслов и походов.

– В пары! – командовал старший.

Установились в пары.

– Марш!

Длинной вереницей отправились из спальни Сапога. На лестнице они повстречали еще своекоштных, к хвосту их пристали еще несколько номеров; у ворот их ожидали номера казенных учеников. Только городские остались в училище. Они ходили в баню дома, по субботам. Во главе ополчения стоял Еловый, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеей извивались по мосткам пар двести с лишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник в келье единенной, заслыша гуденье и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода.